**ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ**

**Горький Главы из книги**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Опубликовано в журнале:**[**«Новый Мир» 2004, №11**](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/11/)

Басинский Павел Валерьевич родился в 1961 году. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Книга “Горький” выходит в издательстве “Молодая гвардия” в серии “ЖЗЛ”. Живет в Москве.

**“А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?”**

Метрическая запись в книге церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего Новгорода: “Рожден 1868 г. Марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мещанин Максим Савватиевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским”.

Неужели никто, бывший при крещении младенца Алексея, ни даже восприемники его “Нижегородской губернии г. Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова”, ни бабушка Акулина Ивановна и дедушка Василий Васильевич Каширины, ни братья матери Яков и Михаил, — неужели никто не задумался о поистине роковом и нехорошем совпадении: первого ребенка Варвары Кашириной-Пешковой окрестили в церкви Варвары Великомученицы?

Странная это была семья. И крестные у Алеши были странные. Ни с кем из них Алеша не имел никакой связи в дальнейшем. А ведь если верить повести “Детство”, и дедушка его, и бабушка, с которыми ему пришлось жить до отрочества, были личностями религиозными.

Странным был и отец его, Максим Савватиевич Пешков, и дед по отцу, Савватий, человек столь крутого “ндрава”, что в эпоху Николая Первого (“Николая Палковича”) из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь “за жестокое обращение с нижними чинами”. К сыну своему, Максиму, он относился так, что тот не раз убегал из дома. Однажды отец травил его в лесу собаками, как зайца, другой раз истязал так, что соседи отняли мальчика.

Кончилось тем, что Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр, и обучил ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось несладко, то ли бродяжья натура опять взяла в нем верх, а только убежал он и от крестного, водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в пароходстве Колчина. Был это красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару.

Максим Пешков и Варвара Каширина обвенчались с согласия (и с помощью) одной матери невесты, Акулины Ивановны Кашириной. Как говорили тогда в народе, женились “самокруткой”. Василий Каширин был в ярости. “Детей” он не проклял, но и жить их к себе, до рождения внука, не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома. Помирился с судьбой...

Однако именно с этого момента судьба начинает преследовать род Кашириных. Как будто появление мальчика знаменовало собой Божье проклятие для этой семьи. И как всегда бывает в таких случаях, поначалу судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой. Последней радостью.

Максим Пешков оказался не только талантливым мастером-обойщиком, но и натурой артистической, что, впрочем, было едва ли не обязательным для *краснодеревца*. *Краснодеревцы,* в отличие от *белодеревцев,* изготовляли мебель прежде всего из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепахой, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием. То есть они изготовляли стильную мебель.

Кроме того (и это не могло не понравиться Василию Каширину), Максим Савватиевич отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал там уважаемым человеком. Перед тем как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали приплытия Александра Второго и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим Савватий Пешков успел побывать присяжным в нижегородском суде. Да и в конторщики нечестного человека не поставили бы...

Вот в Астрахани-то судьба и настигла Максима и Варвару Пешковых, а с ними и каширинский род. В июле 1871 года (по другим данным — в 1872 году) трехлетний Алексей заболевает холерой и заражает ею отца. Мальчик выздоровел, а отец, возившийся с ним, помер, чуть-чуть не дождавшись рождения своего второго сына, выкинутого Варварой возле его трупа и названного в его честь Максимом. Максима-старшего похоронили в Астрахани. Младший умер по дороге в Нижний, на пароходе, и остался лежать в саратовской земле.

По прибытии Варвары домой, к отцу, ее братья переругались из-за приданого сестры, на которое после смерти мужа она имела право претендовать. Дед Каширин вынужден был разделиться с сыновьями. Так зачахло дело Кашириных.

Единственным положительным итогом всей этой внезапной череды несчастий было то, что через некоторое время и русская, и мировая литература обогатились новым именем. Но для Алеши Пешкова приход в Божий мир был связан прежде всего с тяжелейшей душевной травмой, вскоре перетекшей в религиозную трагедию. Вот так началась духовная судьба Горького. Наша версия...

Научного описания ранней биографии Горького (Алеши Пешкова) фактически не существует. Да и откуда бы ему взяться? Кому пришло бы в голову подмечать и фиксировать слова и поступки какого-то нижегородского пацана, полусироты, а затем и круглого сироты, рожденного в сомнительном браке, в семье какого-то пришлого из Перми мастерового и мещанки, дочери сперва богатого, а затем разорившегося владельца красильной мастерской? Мальчика хотя и весьма необычного, не похожего на остальных в его положении, но все же просто мальчика, просто Алеши Пешкова1.

Несколько документов, связанных с рождением Алексея Пешкова, все же сохранилось. Они были опубликованы, например, в книге “Горький и его время”, написанной замечательным человеком Ильей Александровичем Груздевым, прозаиком, критиком, историком литературы, членом литературной группы “Серапионовы братья”, куда входили М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, К. А. Федин, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский. Последний в 20-е годы решил стать биографом Горького, который из Сорренто всячески опекал “серапионов”. Но потом Слонимский передумал и передал “дело” Груздеву. Груздев выполнил его с добросовестностью умного и порядочного ученого.

Груздевым и энтузиастами-краеведами были разысканы документы, которые единственные могут считаться научно обоснованными свидетельствами происхождения и детства Горького. В остальном биографы вынуждены довольствоваться горьковскими воспоминаниями. Они изложены в нескольких скупых, написанных в ранние годы литературной карьеры автобиографических справках, в письмах Груздеву 20 — 30-х годов (по его вежливым, но настойчивым запросам, на которые Горький отвечал ворчливо-иронически, но все-таки подробно), а также главной “автобиографии” Горького — повести “Детство”. Некоторые сведения о детстве Горького и людях, которые его окружали в этом возрасте, можно “выудить” из рассказов и повестей писателя, в том числе позднего времени. Но насколько это достоверно?

Происхождение Горького и его родственников, их (родственников) социальное положение в разные годы жизни, обстоятельства их рождений, браков и смертей подтверждаются некоторыми метрическими записями, “ревизскими сказками”, документами казенных палат и другими бумагами. Однако не случайно Груздев поместил эти бумаги в конец своей замечательной книги. В “Приложение”. Как будто немножко “спрятал”.

И в том же “Приложении” тактичный биограф как бы невзначай проговаривается: да, некоторые из документов “отличаются от материалов „Детства””. “Детство” (повесть) Горького и детство (жизнь) Горького не одно и то же.

Казалось бы, ну и что тут такого? “Детство”, как остальные части автобиографической трилогии (“В людях” и “Мои университеты”), — *художественное* произведение. Факты тут, разумеется, творчески преображены. Ведь не считаются “Жизнь Арсеньева” И. А. Бунина, “Лето Господне” И. А. Шмелева или “Юнкера” А. И. Куприна *научными* биографиями писателей? При чтении их, помимо особенностей фантазии авторов, необходимо учитывать еще и временной контекст. То есть *когда* эти вещи были написаны.

“Жизнь Арсеньева”, “Лето Господне” и “Юнкера” написаны в эмиграции, когда Россия, “которую они потеряли”, рисовалась как бы “подсвеченная” кровавыми сполохами революции, а на разум и чувства неизбежно влияли воспоминания об ужасах гражданской войны. Возвращение в детскую память было спасением от этих мучивших их кошмаров. Так сказать, своеобразной душевной “терапией” для авторов. Сравним “Юнкеров” Куприна с “Поединком”, написанным до эмиграции. Писали два разных человека.

Повесть “Детство” тоже написана в эмиграции. Но это была совсем другая эмиграция. После поражения первой русской революции (1905 — 1907), в которой Горький принимал активное участие, он вынужден уехать за границу, так как в России считался политическим преступником. Даже после широчайшей политической амнистии, объявленной Императором в 1913 году в связи с 300-летием дома Романовых, вернувшийся в Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть “Мать”. А в 1912 — 1913 годах повесть “Детство” писал на итальянском острове Капри русский политический эмигрант. Это необходимо учитывать.

Иначе странными покажутся некоторые места в повести о детстве, которая потрясла таких людей, как Александр Блок, Михаил Пришвин, Дмитрий Мережковский, Кнут Гамсун, Ромен Роллан, а именно поэзией своей и прежде всего образом Бабушки.

“Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, — пишет Горький, — я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо — это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной”.

Это не детский взгляд.

“И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их”.

И это — слова и мысли не Алексея, сироты, “Божьего человека”, а писателя и революционера Максима Горького, который одновременно раздражен результатами революции, винит в этом исторически сложившуюся рабскую природу русского человека и надеется на молодость нации и ее будущее.

Все эти мысли и чувства словно тонкими корешками пронизали “Детство”. На это необходимо делать поправку при чтении описаний “свинцовых мерзостей”, чтобы не прийти к ложному выводу, что Алексей Пешков родился в ужасной стране и ужасном городе (и это красивейший-то и богатейший купеческий Нижний Новгород!), среди психически ненормальных и социально обреченных личностей.

**СИМВОЛИСТЫ О “ДЕТСТВЕ”**

Вот удивительный факт. Символистская критика начала ХХ века (Блок, Гиппиус, Философов, Мережковский) в целом высоко оценила “Детство”. Любопытно, однако, что чуть ли не единственный отрицательный отзыв о повести от символистов был Федора Сологуба. К тому же это еще и первый отзыв на повесть вообще.

В журнале “Дневники писателей” (1914, № 1) Сологуб писал: “Каким Горький уехал, таким и вернулся. Талант — топор, как было сказано о Некрасове. Рубит фигуры из слов, как Ерьзя из мрамора. <...> Читаешь и досадуешь. Невольно вспоминаешь благоуханное детство Толстого. По контрасту. Такое злое и грубое это детство. Дерутся, бьют, порют в каждом фельетоне2. Какой-то сплошной садизм, психологически совсем не объясненный. Не видим, какая душевная сила движет людей к совершению неистовств”.

Сравним с восторженным откликом Александра Блока в письме к П. С. Сухотину 1916 года: “Прочтите „Детство” Горького — независимо от всяких его анкет, публицистических статей и прочего... Какая у него была бабушка!”

Он же в письме к П. Б. Струве июля 1917-го возмущается, что среди учредителей Лиги Русской Культуры, созданной после Февральской революции, нет имени Горького: “...всякий скажет, что в истории русской культуры имя автора „Исповеди” и „Детства” знаменательнее, чем имя Председателя IV Думы”. Значит, Блок считал “Детство” частью не только литературы, а всей культуры.

Сравним также мнение Сологуба со статьей его прямого соратника по лагерю символистов Дмитрия Мережковского. Статья была напечатана в 1915 году в газете “Русское слово” (той же, где впервые опубликовано “Детство”) и имела название “Не святая Русь. (Религия Горького)”. “Куда идет Россия? — спрашивал Мережковский. — Великие русские писатели отвечают на этот вопрос — как бы вечные вехи указывают путь России. Последняя веха — Толстой. За ним — никого, как будто кончились пути России. За Толстым никого — или Горький”.

“Да, не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, восстающую, освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что „Святой Руси” нет; верит, что святая Россия будет. Вот этой-то верою и делает он, „безбожный”, Божье дело. Ею-то он и близок нам — ближе Толстого и Достоевского. Тут мы уже не с ними, а с Горьким”.

Прав или не прав был Мережковский, оценивая “Детство” как повесть специфически религиозно-революционную (в то время подобное соединение мало кого смущало), но показательна та высота, на которую возносит Горького его вчерашний оппонент.

Ведь это Мережковский когда-то назвал героев Горького *грядущими хамами*. А сам писатель был их глашатай.

А в этой статье ему отводится место *впереди* Достоевского и Толстого!

Все это кажется странным потому, что именно Сологуб, казалось, должен был оценить “темное”, “смрадное” содержание “Детства”, где полуслепым мастерам подкладываются раскаленные наперстки, где братья пытаются зимой утопить мужа своей сестры в проруби, где сыновья дерутся за столом на глазах у отца семейства и где, наконец, как почти правильно заметил Сологуб, “бьют, порют в каждом фельетоне”.

Ведь как раз Сологуб, не Блок и Мережковский, знал *такое* детство.

В книге “Русская литература конца XIX — начала ХХ века и первой эмиграции” (М., “Academia”, 1998) читаем статью о Сологубе С. Р. Федякина. “Федор Кузьмич Тетерников (настоящая фамилия писателя) родился 17 февраля 1863 года в Петербурге. Отец его, портной, из бывших крепостных, умер, когда сыну было всего четыре года. Мать нашла работу прислуги, и с помощью хозяйки ей удалось при крайней бедности дать сыну неплохое образование: в 1882 году он окончил Санкт-Петербургский учительский институт. Но наука вгонялась в будущего писателя *непрекращающейся поркой* (курсив мой. — *П. Б.*), которая продолжалась и позже. Сологуб настолько привык, „прикипел” к битью, что уже не мог без этого жить: боль физическая стала восприниматься как лекарство от боли душевной. <...> Это болезненное сладострастие от битья вошло в его мироощущение и болезненным светом озарило все его творчество. Розги то и дело будут появляться в его стихах и прозе”.

Вот так так! В самом деле, разве мало грязного и смрадного в романе Сологуба “Мелкий бес”? А в романе “Навьи чары”? Так почему Горькому Сологуб неожиданно отказывает в праве на “смрадное”?

Легко заподозрить здесь творческую ревность. Тем более, что личные отношения Федора Сологуба и Горького, назвавшего его “Смертяшкиным” за пристрастие к теме смерти, были... неважные.

Но дело, думается, в другом. В отличие от Блока и Мережковского, чьи детства были (по крайней мере внешней, материальной стороной) благополучными, Сологуб по своему опыту знал, “из какого сора” растут такие произведения, как повесть Горького. И хотя он понимал, что многое из описанного там — “горькая” правда, заподозрил писателя в субъективизме, нарочитости некоторых сцен и картин. И тем неприятнее было читать “Детство”, что эта повесть была искажением *его* собственной и болезненной для него “правды”.

“Что-то здесь не так...” — возможно, говорил себе Сологуб. И вот это “не так” помешало ему оценить высокую поэзию “Детства” с его чудесными образами Дедушки, Бабушки, Цыганка и других.

Что же “не так”?

Повесть “Детство” обычно рассматривали с двух точек зрения — реалистической и символической. Реалистическая точка зрения заявлена самим Горьким в цитированном отрывке из “Детства”. Это повесть о “свинцовых мерзостях” русской жизни, в которой корчится несчастный русский человек. Но остается вера, что молодость и талантливость русской нации выведут ее “к свету”.

Символическую точку зрения на повесть дал Мережковский. Он рассмотрел ее как своего рода символическую формулу России. Бабушка и Дедушка — две ипостаси русского мироощущения и русской религиозности. “Религия” Дедушки — это религия государственная, жизнеустроительная, идущая с петровских времен. “Религия” Бабушки — религия народная, стихийная, полуязыческая.

Обе религии отрицают Святую Русь, закладывая основы новой Святой России. И если бы соединить государственную, жизнеустроительную *волю* Дедушки со стихийной, всеобъемлющей *любовью* Бабушки, то состоялось бы рождение новой России.

Проблема, однако, в том, что эти ипостаси существуют одновременно и в неразрывности, и в неслиянности. Они не могут друг без друга. Но и породить что-то целостное не могут.

“Бабушка — Россия, но не вся, потому что у России — „две души”3, по вещему слову Горького, может быть, из всех его слов — самому вещему. Одна душа России — Бабушка, другая — Дедушка. Бабушка прекрасна, Дедушка уродлив. У Бабушки добрый Бог — „такой милый друг всему живому”; у Дедушки — злой. Если Бабушкин Бог — настоящий, то Дедушкин — не Бог, а дьявол.

Так или почти так для Алеши Пешкова, но не так или не совсем так для Горького. Он уже знает, что не вся правда у Бабушки, что есть и у Дедушки своя правда, такая же вечная, страшно верная, страшно русская. <...>

Бабушка делает Россию безмерною; Дедушка мерит ее, копит, собирает, может быть, в страшный кулак; но без него она развалилась бы, расползлась бы, как опара из квашни. И вообще, если бы в России была одна Бабушка без Дедушки, то не печенеги, половцы, монголы, немцы, а своя родная тля заела бы живьем „Святую Русь”. Бабушка — Россия старая, обращенная к Востоку; Дедушка — Россия новая, обращенная к Западу. Бабушка безграмотна; Дедушка полуграмотен. Но если когда-нибудь Россия будет грамотной, то благодаря не Бабушке, а Дедушке”.

На скрещенье этих векторов — Алеша Пешков, который мучительно формируется в М. Горького. Бабушка напитывает его любовью, учит широте взгляда на мир. Дедушка учит церковной грамоте и жестоко порет его, приучая выносить боль и не смущаться доставлять ее другим. Бабушка — Поэзия. Дедушка — Наука.

А в целом — Горький.

Разумеется, схема Мережковского хромает, как все его излюбленные “диалектические” модели. Но в отношении влияния на Горького “религий” Бабушки и Дедушки он во многом прав. И потом, этот взгляд на повесть гораздо интереснее якобы “реалистических” рассуждений на тему о том, как закалялся характер Пешкова посреди свинцовых мерзостей русского быта.

Однако и первая (социальная) схема, и вторая (символическая) — все равно остаются схемами. За ними не видно живого Алеши.

Что это был за мальчик?

**“БЕЗ ЦЕРКОВНОГО ПЕНЬЯ, БЕЗ ЛАДАНА...”**

Чтение повестей “Детство” и “В людях” — дело хотя необыкновенно трудное, но и увлекательное. Если не читать эти вещи с наивно-реалистической точки зрения, как Сологуб “Детство”, удивляясь обилию в повестях немотивированной жестокости, но и не поддаваться искушению символического схематизма Мережковского, то окажется вдруг, что в этих повестях заключен “шифр” всей биографии Горького и его творчества. Если воспринимать эти повести с некоторой степенью уважительного, но все же скептицизма к ним как к реалистическим автобиографиям, то открываются вещи удивительные и... странные. Для автора этой книги несомненно, что и сам Горький, когда писал “Детство” и “В людях”, именно с уважительным недоверием смотрел на личность Алексея Пешкова и отнюдь не всегда идентифицировал его с собой.

Кстати, это качество (раздвоение “я”) вообще было характерно для Горького. Оно проявилось уже в письме к Е. П. Волжиной, невесте, а затем жене. Это раздвоение имело как будто иронический характер: жених, естественно, слегка кокетничал перед возлюбленной. Но за этой иронией сквозило и что-то серьезное.

“Прежде Пешков недостаточно прост и ясен, — пишет он в мае 1896 года, — он слишком убежден в том, что не похож на людей, и слишком рисуется этим, причем — не похож ли он на людей на самом деле — это еще вопрос. Это может быть одной только претензией. Но эта претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком большие требования и несколько третировать их свысока. Как будто бы умен один Пешков, — а все остальные идиоты и болваны. <...> А главное — его трудно понять, ибо он сам себя совершенно не понимает. Фигура изломанная и запутанная. Помимо этих очень крупных недостатков, есть и другие, из которых одни я позабыл, другие не знаю, о третьих не хочу говорить, потому что скучно и потому, что мне жалко Пешкова — я люблю его. И только я действительно люблю его. О достоинствах этого господина я не буду говорить — ты, должно быть, лучше меня знаешь их. Но вообще — предупреждаю, и совершенно серьезно, Катя, — вообще этот человек со странностями. Иногда я склонен думать, что он своеобразно умен, но чаще думаю, что он оригинально глуп. Главное — он слишком непонятен, вот его несчастье”.

Это письмо написано уже “М. Горьким”. И даже более или менее известным писателем, так как в 1895 году самый популярный в России “толстый” литературно-публицистический журнал “Русское богатство” напечатал рассказ “Челкаш”.

И в то же время, повторимся, это письмо написано влюбленным женихом — невесте. Так что Горький тут, без сомнения, “рисуется”.

Тем не менее оно вызывает сложное чувство. Здесь смешаны ирония, нарциссизм и раздвоение личности, даже страх пред самим собой.

30 августа того же года в Самаре Горький обвенчается с Екатериной Павловной Волжиной, а уже в октябре он настолько серьезно заболеет туберкулезом, что три месяца будет находиться на грани жизни и смерти. Начало болезни совпало с каторжным каждодневным газетным трудом и тяжелым материальным положением. И у железного человека психика не вынесла б такого.

Но зачатки этого тяжелого душевного состояния прорастали в нем в детстве.

Поэтому пристальное прочтение двух повестей производит на читателя двойственное впечатление. Автор как будто сам удивлен формирующейся перед ним личностью, с недоверием изучает ее и делает для себя какие-то выводы, о которых не сообщает, а только намекает читателю.

Он как бы говорит: “Черт знает, что это за мальчик? Но мне кажется...”

Далее попадаем в густой лес знаков, символов, намеков, странных открытий.

Ну не странно ли, например, что на исповедь в церковь *крещеный* Алексей Пешков *впервые* попадает, будучи подростком, когда работает прислугой в семье подрядчика, родственника своей бабушки? Как такое могло быть? В семье В. С. Сергеева, согласно “Летописи жизни и творчества А. М. Горького”4, он оказался примерно в сентябре 1880 года, а сбежал в мае 1881-го. Следовательно, двенадцати-тринадцатилетний крещеный подросток ничего не знал ни о том, что такое церковная исповедь, ни как свершается обряд Причастия?

Невероятно, но так получается, когда читаешь “Детство” и “В людях”. Если только Горький не заставил себя “позабыть” о *сознательном* посещении им церкви, когда писал в повести “В людях”, что Сергеевы обязали его ходить в церковь “по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне”. “Мне нравилось бывать в церквах; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас — он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы”.

Это как бы *первое* открытие для Алеши обряда православного богослужения. Его отправляют исповедаться к отцу Доримедонту, он невероятно напряжен. Уходит от священника, “чувствует себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно...”.

Когда на следующий день его с пятиалтынным (для пожертвования) отправляют уже причащаться, Алексей пропускает литургию, да еще проигрывает деньги в бабки. В панике, что в доме Сергеевых обман раскроется, Алеша спрашивает “празднично одетого паренька:

— Вы причащались?

— Ну так что? — ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я”.

Согласно православному правилу, которое в ХIХ веке было законом для крещеных людей, до семилетнего возраста ребенка причащают без исповеди. После семи он *обязан* исповедоваться.

Неужели в православной семье Кашириных не знали того, о чем знали в православной семье их ближней родни?5

Непонятно.

В одном из писем Груздеву Горький признался, что всегда был не в ладах с датами и фактами, но память на людей у него исключительная. Значит, если Горький вспомнил того паренька (кстати, он отказался рассказать о процедуре причащения), то к тому моменту Алеша действительно не знал, как происходит главнейшее из церковных таинств? Так же, как не знал и того, что образ Богородицы на иконе не целуют в губы? Это Алексей в порыве любви к Богоматери сделал, когда в дом Сергеевых внесли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери из Оранского монастыря:

“Я любил Богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости — все благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке Ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.

Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол”.

Четыре факта, связанные с воспоминаниями о живых людях, событиях и впечатлениях (посещение церкви, исповедь, обман с Причастием и целование лика Богородицы), как будто говорят о том, что в семье деда с бабкой Алешу никогда не водили в храм.

Впервые его отправили на исповедь именно родственники, которые, оказывается, куда больше заботились о душе Алеши, нежели любимая бабушка и весьма щепетильный в вопросах религии дедушка.

“Через несколько дней после приезда он (дед. — *П. Б.*) заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома”.

Главы-то видны были... Но, оказывается, ни деду, ни бабушке не пришло в голову, что Алешу нужно отвести на исповедь. Во всяком случае, в “Детстве” нет ни слова об этом. Хотя есть очень много размышлений о Боге бабушки, добром, и Боге деда, злом.

Сами-то супруги Каширины и их сыновья с семьями ходят в церковь исправно. “По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь”, — пишет Горький. И рассказывает о фокусах с мышами и тараканами Ивана Цыганка, подкидыша и вора, который воровал для жадного на деньги деда провизию на рынке. Тараканы изображали тройку архиерея, монахов. Почему Алексея дед не брал с собой? Понятно — Цыганок, кличка которого говорит сама за себя. Но Алексей почему не в церкви?

Когда братья Каширины, Яков и Михаил, убили Цыганка (случайно или преднамеренно — не совсем ясно), задавив его комлем огромного креста для могилы жены Якова, дед и бабка находились в церкви, куда за ними посылают.

В глазах же маленького Алексея православный крест, панихида, которую служат по жене Якова (будто бы замученной Яковом до смерти), дед с бабкой на церковном кладбище, странное поведение дядьев (“Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток... Знаю я, — он вам поперек глоток стоял...” — кричит примчавшийся из церкви дедушка) и кровь, текущая изо рта Цыганка, связываются в единый образ. И этот жуткий образ едва ли приближает маленького Алексея к православной церкви.

Но главное, когда семья в храме, на кухне двое. Иван и Алеша. Первый подкидыш. Его любят дед и бабка. Но он не свой. А Алексей? Вроде бы свой. Наполовину — Каширин. И тем не менее его положение в доме почему-то напоминает положение Цыганка. Положение подкидышей.

Заглянем в первую известную автобиографию Горького под несколько вычурным и явно навеянным влиянием поэта Гейне, которым Горький увлекался в молодости, названием “Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца”. Эта автобиография обращена к некой Адели, героине немецкого романа. Под Аделью несложно заподозрить “первую любовь” и гражданскую жену Горького переводчицу О. Ю. Каменскую, ради которой, по-видимому, и писался этот автобиографический очерк в виде письма, при жизни автора нигде не напечатанный.

Горький рассказывает о своем детстве и вдруг, между прочим, отмечает: “Очень не любил ходить в церковь с дедом — он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею”. Есть об этом и в “Детстве”…

Значит, дед все-таки водил Алексея в церковь. Но при этом ни разу не принуждал исповедаться и причаститься? Либо Горький забыл об этом, либо отношение к мальчику в семье Кашириных было очень странным. Вернее всего — второе.

В том же “Изложении...” говорится, что Алешу не взяли в церковь, когда его мать венчалась с вотчимом, хотя с вотчимом его накануне свадьбы познакомили, и тот даже поцеловал его и пообещал купить ему ящик красок. (Впрочем, в “Детстве” это объясняется тем, что мальчик повредил ногу заступом.)

“На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже почти нет пробелов. Помню, *все родные* (курсив мой. — *П. Б.*) шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то счел нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнят ли обо мне, не видя меня, но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго, долго! На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей, всем было весело, и все смеялись, мне тоже стало весело — и я уж хотел выползть оттуда, но как это сделать?

Но покуда я раздумывал, как бы незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец обо мне вспомнили.

— А где у нас Алексей? — спросила бабушка.

— Набегался и спит где-нито в углу, — хладнокровно отвечала мать. Я помню, что она сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, чтбо именно она скажет, и не могу не помнить...”

Не здесь ли скрывается подсознательная (или сознательная?) причина того факта, что в 1912 — 1913 годах, когда писалось “Детство”, Горький забыл (забыл?) о том, как ходил в храм, когда жил с Кашириными, и вспомнил о церкви, только описывая свою жизнь у Сергеевых? Но в любом случае первые “церковные” воспоминания Горького связаны с детскими травмами. Буквальными (дедушка больно толкал в шею) и душевными (вся родня пошла в церковь на венчание Варвары, затем все сели за стол, а про мальчика забыли). Это были первые кирпичики того фундамента, на котором строилось отношение писателя к церкви...

**“СЕЯЛИ СЕМЯ В НЕПАХАНУ ЗЕМЛЮ”**

Эти слова произносит дедушка на похоронах Коли, сводного брата Алеши Пешкова. Братик Коля почти даже не умер, а “незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас”, по словам Алеши.

Да, именно Алеши, не Горького. В “Детстве” и отчасти в повести “В людях” (которая является продолжением “Детства”, в отличие от повести “Мои университеты”, где перед нами не Алеша, а уже весьма резко оформившийся будущий Горький) нужно научиться постоянно различать их голоса. Правда, порой они смешиваются.

О каком “семени” и о какой “земле” шла речь? Почему смерть собственного внука воспринимается дедом Василием Кашириным как-то неправдоподобно равнодушно? Словно умер не родной человечек, а сдохла тощая и больная курица?

“— Вот — родили... жил... ел... ни то ни се...” — бормочет дед о внуке.

Не менее странным, если задуматься, является всем знакомый конец “Детства”:

“Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Ляксей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...”

Попросту говоря, мальчика выставляют за дверь через несколько дней после того, как умерла его мать и он стал окончательным сиротой!

Больше того. Отказ Алексею от дома Кашириных как раз и вызван кончиной его матери.

Почему?

Потому что со смертью дочери Варвары рвется последняя нить, которая связывала деда Каширина с Алешей Пешковым родственной ответственностью. Отныне он в глазах дедушки не “пол-Каширина”, так сказать, но чистый Пешков, сын человека без роду и без племени, который увел его дочь.

Ради дочери (она после смерти отца Алеши, ее первого мужа, должна была как-то устраивать свою женскую судьбу, в чем мальчик ей, конечно же, мешал) дед Каширин еще мог потерпеть маленького Пешкова в своем доме. Но по мере разорения Кашириных Алеша все больше становился обузой, то есть “медалью на шее”. Смерть дочери развязала Василию Васильевичу руки. Ступай вон!

Дед Горького по материнской линии Василий Васильевич Каширин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он родился в 1807 году в городе Балахны Нижегородской губернии, в семье солдата Василия Даниловича Каширина и был крещен в Покровской церкви, а в 1831 году в том же городе, но уже в Спасо-Преображенской церкви, венчался с девицей Акулиной Ивановной, дочерью нижегородского мещанина — Ивана Яковлевича Муратова.

Эти дальние родственные истоки Горького важны для выяснения подлинного, а не мифологического его социального происхождения. Социальные истоки Горького и по сей день вызывают у несведущих читателей разноречивые мнения. Остались люди, которые верят в миф о Горьком-“босяке”, трактуя это то в его пользу (бродяга, романтик!), то в отрицательном смысле (хам, человек без почвы). Советский миф о “пролетарском писателе Максиме Горьком” породил представление о его “рабочей” и даже “пролетарской” закваске. Этот миф успешно распространялся среди европейских “левых”, но и в России до сих пор звучат его отголоски. В 20-е годы, выступая в собрании эмигрантов, бывший соратник Горького по товариществу “Знание” Иван Бунин попытался развенчать миф о Горьком-босяке. И тотчас же создал новый — о Горьком-“мещанине”, вышедшем из богатой буржуазной семьи.

Бунин публично “удивлялся”, читая свой очерк о Горьком. Вот, мол, открыл словарь Брокгауза и Ефрона, а там... При всем уважении к Бунину нельзя не отметить, что делалось это не без задней мысли и не без расчета. Оба, Горький и Бунин, были претендентами на Нобелевскую премию по литературе. Развенчивая действительный миф о Горьком-“пролетарии”, Бунин почему-то “забывал” о его действительно трудной и трудовой ранней биографии. Как бы не были еще написаны повести “Детство” и “В людях”. Как бы, общаясь с Горьким в начале века, он не видел перед собой человека, который прошел не только медные трубы славы, но и огонь, и воду... Поставив перед собой задачу доказать, что слава Горького чрезмерна и не имеет оснований с точки зрения творческой, Бунин делал акцент на биографическом “трюке”, который якобы проделал Горький. Внук богатого владельца красильной мастерской заставил публику считать себя изгоем и бродягой. Это было модно в начале века, ведь тогда все “почвенное”, основательное, консервативное считалось реакционным.

Бунин лукавил, что не делает ему чести. Но была в этом и естественная обида человека, который сам происходил хотя и из дворянской, но бедной семьи. Среди предков Бунина были Василий Жуковский и поэтесса начала XIX века Анна Бунина. Но детство свое он провел в деревне, в небольшом имении отца на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии и елецкую гимназии не закончил — в связи с неуплатой денег.

Отец Бунина крепко пил, проигрывал и без того небогатое состояние в карты, был необуздан в гневе и порой третировал свою жену.

Горький же (здесь Бунин лукаво прав) родился в самом деле в счастливой и благополучной семье. Но беда в том, что счастья и благополучия этих совсем не досталось на долю мальчика. А самое-то страшное, что едва ли не главной причиной краха этих счастья и благополучия был он.

Этого ужаса (стать причиной несчастья родных тебе людей, долгое время из-за малого возраста не понимать этого, но чувствовать себя чужим и нелюбимым, а затем, по мере роста самосознания, ожесточиться на целый свет), — этого ужаса Бунин, слава богу, не пережил. Он рос в небогатой, но теплой и любовной атмосфере. В семье Буниных никогда не наказывали детей. Однажды папаша в шутку повел детей в сад и приказал им самим срезать розги для наказания... которое на этом и закончилось. Родители и старший брат Юлий всегда гордились талантливым Иваном. Отец не то шутя, не то серьезно говорил: “Иван рожден поэтом, ни на что другое не способен”. А сказал бы он ему: “Ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе”. И выгнал бы из дома, как подкидыша...

Вернемся к деду Василию Каширину.

На основании документов Илья Груздев сделал вывод, что уже в Балахне Василий Васильевич “приобрел хорошую „оседлость”” и был в числе зажиточных граждан. Будущая бабка Алеши Пешкова Акулина была младше Василия на 6 лет.

Переселившись в Нижний Новгород, уже довольно людная семья Кашириных зажила богато.

В данных “Обывательской книги Нижегородского цехового общества с 1855 года по 1857 год” о Василии Каширине говорится: “Служил старшиной по красильному цеху в 1849 и 1855 годах”.

Купчая от 14 января 1852 года на приобретение Кашириным деревянного дома тоже подтверждает его состоятельность. А в “Списке цеховых служащих по выборам городского общества” сказано:

“По выбору городского общества служил: в 1855, 1856 и 1857 годах старшиной красильного цеха и в 1861, 1862 и 1863 годах гласным в Думе”. Для справки: Дума состояла всего лишь из 6 гласных. Одним из них стал Каширин.

Вершиной благополучия каширинского рода была постройка в 1865 году большого деревянного дома на каменном фундаменте на Ковалихинской улице. Это было за 3 года до рождения Алеши.

Да, Василий Васильевич Каширин был небедным и уважаемым в Нижнем человеком. Два или три раза переизбирался цеховым старшиной и даже метил в ремесленные головы (не избрали, чем смертельно обидели гордого деда Василия). Поднявшись со дна трудовой (все-таки трудовой, не криминальной) жизни до относительно обеспеченного социального положения, он мечтал поднять род Кашириных еще выше. Сыновья, Яков и Михаил, для этой роли не совсем годились. Братья слишком часто выпивали, скандалили между собой за наследство и даже дрались на глазах у отца, так что он был вынужден разделиться с ними, что в конце концов вместе с жадностью Василия Васильевича погубило “дело Кашириных”. А вот красавица дочь Варвара, да еще и с хорошим приданым, могла претендовать на дворянина.

Не вышло.

Между тем сам Василий Васильевич когда-то был бурлаком и исходил всю Волгу. Но врожденный ум его был замечен хозяином, и из бурлаков его перевели в “водоливы”. Водолив — старший рабочий на барке, старшина над бурлаками, наблюдавший за сохранностью груза и исполнявший обязанности “артельщика”, то есть заведовавший артельным хозяйством, хранением артельных денег, выдачей кашевару продуктов. Такому человеку должны были доверять не только хозяин, но и бурлаки. А почему “водолив”? Потому что обязан был следить за водотечностью барок и при необходимости еще плотничать.

Умер Василий Васильевич Каширин нищим в 1887 году и был погребен на приходском нижегородском кладбище.

Неудачными оказались судьбы и почти всех его детей и внуков. И жены, о которой будет особый разговор.

Разделив с отцом собственность, братья Яков и Михаил погубили не только “дело”. Сын Михаила Саша стал босяком и пьяницей, трижды судился за кражи, но при этом, по воспоминаниям Горького в письмах к Груздеву, был романтиком по природе.

Горький писал о нем: “Прекрасная, чистейшая душа русского романтика, лирик, музыкант и любитель — страстный — музыки... Он очень любил меня, но читал неохотно и спрашивал с недоумением: „Зачем ты все о страшном пишешь?” Его жизнь бродяги, босяка не казалась ему страшной... Несколько раз я пробовал устроить Сашу, одевал его, находил работу, но он быстро пропивал все и, являясь ко мне полуголый, говорил: „Не могу, Алеша, неловко мне перед товарищами”. Товарищи — закоренелые босяки. Устроил я его у графа Милютина в Симеизе очень хорошо... Через пять месяцев он пришел ко мне: „Не могу, — говорит, — жить без Волги”. И это у него не слова были, он мог целые дни сидеть на берегу, голодный, глядя, как течет вода. <...> Босяки очень любили его и, конечно, раздевали догола, когда он являлся к ним прилично одетый и с деньгами. Умер он в больнице от тифа, когда я жил в Италии”.

Отец Саши — дядя Алеши — Михаил был, как писал Горький Илье Груздеву, “тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек. <...> Бабушка называла его „злоокий”. „Эх ты, змей злоокий! Кикимора злоокая!”

Глаза у него — круглые, птичьи, белки — в красных жилках, зрачки рыжеватые, с искрой. Ходил — быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи, — так пьяные идут в драку. Работу — не любил и работал всегда в состоянии крайнего раздражения, со злобой, бегал по двору засучив рукава, с руками по локти в синей, черной или желтой краске и — матерно ругался.

Работа не удавалась ему, и толстущая его жена зорко следила, чтоб не испортил материй, которые красил, а он ходил на нее с мешалкой, как со штыком. Был случай, когда она, вырвав мешалку, огрела мужа так, что он завыл: „Господи! Из-ззувечила!”

У него всегда были любимые словечки, но он часто менял их. Помню, любил он говорить: „По-азбучному”, наполняя это слово различным содержанием, произнося его то — с иронией, то — пренебрежительно или равнодушно, изредка — одобрительно.

Как-то, при мне, он словесно и очень долго травил сына своего, кротчайшего Сашу, — у Саши был трогательный роман с кухаркой, женщиной старше его лет на двадцать. Сашок очень долго не поддавался травле, но, когда отец пошел на него с кулаками, оттолкнул отца: „Отстань, пьяное чудище!” Дядя покачнулся, упал и, сидя на полу, одобрительно произнес: „По-азбучному!” — и горько заплакал, но когда Саша, смущенный его рыданиями, наклонился, чтоб поднять его, отец ловко схватил его за волосы, подмял под себя, сел верхом на грудь ему и победительно, торжествуя, заорал: „Аг-га, по-азбучному!” <...>

Меня дядя Михаил не терпел, пожалуй, можно сказать, — ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку.

Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, всех ненавидел. Теперь я думаю, что он кроме алкоголизма страдал истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и хорошей одежде, затем женатый на дворянке, — принужденный был жить (после смерти первой жены, матери Саши. — *П. Б.*) с толстой, удивительно тупой и грубой бабой, дочерью темного трактирщика, должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была не легка ему”.

Ничего (или почти ничего) из этих живых и конкретных черт дяди Михаила не найдем в прозе Горького. Очевидно, когда писались “Детство” и повесть “В людях”, они были не важны для него.

Из писем Груздеву выясняется, что не только Михаил, но и младший брат Яков был женат на обедневшей дворянке. Вероятно, это была семейная политика Василия Каширина, стремившегося таким образом возвысить свой род. Однако безуспешно.

Мать второго двоюродного брата Алеши, тоже Саши, жена дяди Якова умерла, когда их сыну было всего пять или шесть лет. В повести “Детство” намекается на то, что Яков ее замучил. Умирая, она внушала сыну: “Помни, что в тебе течет дворянская кровь!” Судя по “Детству”, дядя Яков пытался отмолить свой грех с помощью огромного креста на могилу жены, который при перенесении его на кладбище задавил приемыша Ваню Цыганка.

В письме к Груздеву дядя Яков предстает в более симпатичном виде, в отличие от его сына с “голубой кровью” Саши. “Дядю Якова Сашка держал в черном теле, называл по фамилии, помыкал им, как лакеем, заставлял чахоточного старика ставить самовар, мыть пол, колоть дрова, топить печь и т. д. Отец же — любил его, — „души в нем не чаял”, — смотрел на человека с дворянской кровью в жилах лирическими глазами, глаза точили мелкую серую слезу; толкал меня дядя Яков локотком и шептал мне:

— Саша-то, а, Бар-рон...

Барон суховато покашливал, приказывая отцу:

— Каширин, ты что же, брат, забыл про самовар?”

Не этот ли Барон, который, по словам Сатина, “хуже всех” в ночлежке, появится в “На дне” в преломленном фантазией писателя виде. Во всяком случае, пристрастие дяди Михаила к необычным словам (“По-азбучному!”) Горький использовал для образа Сатина (“Сикамбр!”, “Органон!”), в чем сам признался в письме к Груздеву. Но опять-таки, этих живых черт сына Якова почти нет в “Детстве” и в повести “В людях”. Нет там и речи о том, что Саша, будучи помощником регента церковного хора, пытался носить дворянскую фуражку, но вскоре это запретила полиция. Не сказано там, что Саша прекрасно пел и был вторым тенором в знаменитом церковном хоре Сергея Рукавишникова. Потом он работал “сидельцем” в винной лавке, просчитался, был судим, пытался организовать “Бюро похоронных процессий”.

Зато в первых двух частях автобиографической трилогии Горького множество подробностей весьма странных, не имеющих отношения к “прозе жизни”. Например, в начале повести “В людях” говорится о влечении сына Якова Саши к магическим обрядам, что заставляет вспомнить слова деда Каширина, обращенные к младшему сыну: “Фармазон!” В самом ли деле суеверный Яков увлекался франкмасонскими книгами, как повар Смурый, приучивший Алексея Пешкова к чтению? Едва ли. Скорее дед Василий называл Якова “фармазоном” просто потому, что так было принято именовать вольнодумцев вообще. А все-таки?

“Саша прошел за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев, — обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их, — под ними оказался кусок кровельного железа, под железом — квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дыру и сказал мне:

— Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, — корень служил пещере сводом, — в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиною как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналоя горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет” (“В людях”).

На детском языке такие захоронки называются “секретками”. Невинная традиция эта сохранилась по крайней мере до 60-х годов ХХ века, когда проходило детство автора этой книги. Но я не помню, чтобы в “секретки” прятали мертвых птиц, превращая это в подобие церковного отпевания усопшего. Даже если традиция эта и была у детей ХIХ века, все равно странными и загадочными представляются слова Саши после того, как Алексей в результате ссоры между ними выбросил воробья через забор на улицу:

“— Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я все нарочно сделал для тебя, это — колдовство! Ага!”

На следующий день Алексей опрокинул себе на руки судок с кипящими щами и попал в больницу. Сработало “колдовство”? Как тут не вспомнить “фармазона” и слова мастера Григория о Якове, отце Саши, сказанные Алексею:

“— Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, — понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь! <...>

— Как забил? — говорил он не торопясь. — А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает и бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает. <...>

— Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со свету сживали. Она все скажет — она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко”.

Насколько разительно не похож этот образ дяди Якова на тот, что нарисован в письме Груздеву. И это не единичный пример. В повестях “Детство” и отчасти “В людях” Горький явно выстраивал особую мифологию семейных линий Кашириных и Пешковых. Главной фигурой этой мифологии являлся он сам. И хотя положение его в семье Кашириных как будто было таково, что он почти никому (включая свою мать) был не нужен, в тягость, в мифологическом пространстве этой странной автобиографии главная схватка шла как раз за его бессмертную душу.

Чья сила перетянет? Деда Каширина? Бабушки Акулины, совсем не похожей на Кашириных? Или кровь отца Максима — малоизвестного Пешкова?

В какой-то степени именно появление среди Кашириных Пешковых приводит Кашириных к краху. Окончательная и уже неразрешимая ссора между Яковом и Михаилом начинается с появлением в доме Алеши. Формально они ссорятся из-за приданого вдовы Варвары. Но ведь изначальной-то причиной ее вдовства (о чем пойдет речь ниже) был как раз Алексей Пешков. Случайность? Или это Судьба?

Свара ведет к разделу между отцом и детьми. В результате, раздробив “дело” и став конкурентами сами себе, они разоряются, впадают в нищету.

Отношение дедушки к Алеше очень сложное. Он жестоко избивает его, до полусмерти, а потом приходит к нему исповедоваться. И он никак не может понять: кто Алексей — Каширин или Пешков? Вот их первая встреча на палубе парохода, который прибыл с Алешей, Варварой, бабушкой:

“Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав: — Скулы-те отцовы...”

Потом дед Василий будет не раз “придвигать” и “отодвигать” Алешу, пытаясь разобраться: чей он? Дядья же (особенно Михаил) невзлюбят его за то, что в доме появился еще перспективный наследник. И все это: травля Алексея Кашириными, гибель (фактически убийство) любимого им Цыганка, отказ от дома странному человеку, которого Алексей называл “Хорошее Дело”, отказ от дома самому Алексею, — все это в конце концов завершается полным крахом каширинской семьи.

Сеяли семя в непахану землю.

Да, но для краха семьи все же был необходим какой-то внешний, последний толчок. Этим толчком стали незаконный, без согласия отца, брак дочери Варвары с пришлым мастеровым Максимом Пешковым и появление в доме Кашириных Алеши Пешкова. Именно Алексей, сам того не желая и не ведая, оказался “проклятием” для рода Кашириных.

Инстинктивно они чувствовали это и почти все (за исключением бабушки Акулины) не любили этого мальчика. Даже родная мать, понимая, что Алеша ни в чем не виноват, что причиной смерти Максима он стал невольно, не любила его.

Не сразу, но со временем он стал понимать это и заплатил родне этой же монетой. Нет ничего страшнее души ребенка, которую лишили любви. И нет ничего более непредсказуемого, чем выводы того разума, который, оформляясь и закаляясь в этой атмосфере “без любви”, начинает делать свои выводы о мире, о Боге и о людях.

**БАБУШКА АКУЛИНА**

Но бабушка Акулина Ивановна?

Ведь она в глазах Алексея — *не Каширина*. Она добрая. Она святая. За нее советует “держаться” добрый мастер Григорий. А Алеша?

Мифологию образа Бабушки Горький прописывал с особой тщательностью и большой любовью. Поэтому как художник именно здесь он превзошел самого себя. Ничего более нежного, поэтичного, чем этот образ, Горький не создал ни до, ни после повести “Детство”. И если бы кроме этой повести он не написал ничего, мировая литература все равно бы пополнилась гениальным писателем, а этот шедевр остался бы великой не только художественной, но и психологической загадкой. Отчасти он таковым и остался. Но все-таки только отчасти.

Жаль, что мы не располагаем фотографическим портретом бабушки Горького. В ее внешности, видимо, было что-то “темное”, языческое. Недаром в своей семье ее называли “ведьмой”.

— Что, ведьма, народила зверья?!

Это кричит Василий Каширин после безобразной потасовки Якова и Михаила прямо во время обеда. Можно не обратить внимания на этот странный крик дедушки и принять его просто за бессмысленное ругательство раздраженного главы семейства. Но в “Детстве”, повести невероятно плотной по обилию всевозможных “знаков”, намеков, символов, почти нет случайностей. Потому задумаемся: почему дед Василий именно собственную супругу обвиняет в начале распада семьи. Только ли потому, что она “потатчица”, по словам Василия, и выступает за раздел имущества Кашириных между детьми? Но при чем тут “ведьма” и “зверье”? Вот и еще одна загадка “Детства”, не разгадав которую многое останется непонятным в этой повести.

Зададим себе простой вопрос. Каким образом в семье хотя и скуповатого, но честного, трезвого, трудолюбивого и богобоязненного Василия Каширина народились такие непутевые дети? Это — пьющие, дерущиеся между собой братья Яков и Михаил. Это непослушная и недомовитая дочь Варвара, которая, потеряв первого мужа, бросает ребенка в семье родителей и живет как ветер в поле, не неся за мальчика никакой ответственности.

“Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них, — жалуется дедушка. — Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали, — в лукошко кладем, а Господь-от вложил в руки нам худое решето...” И снова в недостатках детей он винит мать: “А все ты потакала им, татям, потатчица! Ты ведьма!” Вот опять.

Если смотреть на бабушку глазами Алеши, то она поистине свет в окне, сердце мира, чуть ли не земная богородица. И это понятно. Бабушка для Алеши, если можно так выразиться, первое и даже единственное “теплое” место, которого коснулась его детская, но уже навек травмированная душа. Это даже не любовь, а просто спасение в холодном безлюбовном мире, где мальчик с самого начала обречен на гибель. С первых мгновений более или менее отчетливого детского самосознания вокруг него трупы, трупы и трупы. Холод, холод и холод. Мертвый отец в гробу. Мертвый младший брат. И даже мать, хотя и живая, выглядит как мертвая на корабле из Астрахани в Нижний:

“Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас (Алексея и бабушки Акулины Ивановны. — *П. Б.*). Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, — вся она мощная и твердая...”

Одно из самых первых жизненных впечатлений маленького Алеши: “В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами”.

“Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер...

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно”.

Матери не видно рядом с ними. Прямо возле трупа супруга Варвара родила второго сына. В честь мертвого отца его назвали Максимом. Через несколько дней, на пароходе, мальчик умрет и будет похоронен в Саратове.

Ее сын от второго мужа, Коля, тоже окажется не жильцом и угаснет, “как маленькая звезда на утренней заре...”.

В “Детстве” все пронизано сложной символикой. На гробе отца две лягушки, и обе обречены на смерть. Алеша еще раз вспоминает о них на борту парохода, когда из каюты унесут гробик с младшим братом. Алексей рассказывает об этих несчастных лягушках матросу, а матрос говорит ему:

— Лягушек жалеть не надо, Господь с ними! Мать пожалей, — вон как ее горе ушибло!

Отца, братика и даже вот лягушек “прибрал” Господь. Потом он “приберет” к Себе мать, брата Колю и вотчима. Зато Алеша Пешков останется на земле только и исключительно благодаря бабушке, которая “сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, *насытив крепкой силой для трудной жизни* (курсив мой. — *П. Б.*)”.

Фактически бабушка не просто заменяет Алеше мать, но и становится для него богом в мире, где Бог бросил его на произвол злой, холодной судьбы. Ничего странного, что этот Бог, “Бог дедушки”, не нравится Алексею.

Мережковский называет этого Бога дьяволом, но это неверно. Бог дедушки — Бог истинный, Бог настоящий. И мальчик чувствует Его присутствие в мире, но он обижен на Него. Сознательно или нет Горький обыгрывает в своем “Детстве” слова Ивана Карамазова о “слезинке ребенка”, из-за которой Иван готов “почтительно” возвратить Творцу билет в Царство Небесное. Только в “Детстве” ребенок оказывается не пассивным, но активным героем. Проблема в том, что как раз ребенку-то и не достается билета в Царство Небесное. Бог как бы отвернулся от него...

Подобно третьей лягушке, он брошен, но уже не в могилу с водой, а в кувшин со сметаной, как в народной притче, и отныне должен месить лапками окружающее его холодное чужеродное пространство, пока оно не превратится в масло и не позволит ему выбраться наружу.

Но хватит ли сил?

Сила идет от бабушки. Она “как земля”. Она насыщает мальчика невидимой, но необходимой для него энергией выживания, и вот эта загадочная энергия спасает Алешу.

Такова мифология образа Бабушки. Живая, но все же мифология. А какова была бабушка Акулина Ивановна в реальности?

Наша задача — не развенчание мифа, тем более такого прекрасного и поэтичного и, значит, уже художественно состоявшегося, а попытка пробиться к истокам очень непростой души (по мнению Корнея Чуковского, “двух душ”) Максима Горького, на формирование которой оказал влияние не образ Бабушки, созданный писателем гораздо позднее, а живая Акулина Ивановна Каширина.

Во-первых, она была пьяница.

В “Детстве” и “В людях” Горький предельно бережно касается этой больной проблемы бабушки, поскольку она звучит в контексте его размышлений о русском человеке как отрицательный момент. Но и скрыть очевидного для семьи Кашириных факта он не может. “Правда выше жалости”.

Для Алеши бабушка — бог. Ее явление сродни Божьему явлению. Но Варвара стыдится собственной матери, которая на пароходе бродит “от борта к борту и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены”, потому что бабушка не смущается угощаться у матросов водкой, за что рассказывает им разные смешные небылицы. Матросы хохочут, и Алексею весело. Но Варвара сердится:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А Господь с ними...

Только что Господь был с лягушками. Но для Алеши бог един — Бабушка. Настоящий Бог обидел его. Бабушка оказывается единственным устойчивым смысловым центром мироздания. Все прочее страшно и абсурдно, как лягушки в могиле. Алеша жмется к Бабушке. Да, но в глазах-то остальных, и даже собственной дочери, это просто добрая, смешная, шалапутная пьянчужка, непутевая бабка с рыхлым, распухшим от пьянства красным носом.

Задним числом Горький понимает это и подает как бы вторым, непроявленным планом.

Бабушки стыдится не только ее дочь.

Странно! Время от времени Василий Каширин, цеховой старшина, уважаемый в Нижнем Новгороде человек, уходит к кому-то в гости. Но законную супругу он с собой не берет. Почему?

“...в праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов”.

Есть в музыке понятие “контрапункта”, или нарушения гармонии, когда одна мелодия вступает в конфликт с другой и рождается музыкальный эффект. Этот образ из “Детства”, как и многие другие в повести, построен на “контрапункте”. Фраза начинается в одной тональности, но на нее накладывается другая. И взрывает гармонию.

С уходом деда, с его жестоким, но ясным и понятным Богом, в доме Кашириных начинается языческое, русское “дионисийское” действо.

Водка размягчает сердце русского человека. Дядя Яков поет жалостные песни, такие, что Алеша плачет “в невыносимой тоске”, а Цыганок весело, ухарски пляшет, “неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...”.

Все эти лица еще индивидуальны. Куда более смутными видятся мастер Григорий, нянька Евгенья и “волосатый успенский дьячок”. Но остальные, “какие-то темные, скользкие люди”, уже вовсе неразличимы, а только похожи на “щук и налимов”. Между тем они тоже составляют окружение бабушки Акулины, ее “мир”.

Это “мир”, а вернее, “дно”, в которое Бабушка точно утянет за собой Алексея, если он останется верен своему богу.

И только ценой предательства (своего рода убийства в себе) этого страшно милого, доброго, поэтичного и страшно русского бога Алеша Пешков станет М. Горьким.

Когда Горький писал “Детство”, “В людях” и “Мои университеты”, он это прекрасно понимал. Тем более, что уже в 1895 году в “Самарской газете” опубликовал первый набросок к будущему “Детству” (изначально повесть замысливалась под названием “Бабушка”), очерк “Бабушка Акулина”, который с тех пор благоразумно не включал в свои сборники и собрания сочинений, как бы похоронив в прошлом живую Акулину Ивановну. Этот живой бог “умер”, чтобы затем воскреснуть в мифотворческом образе “Бабушки”6.

В очерке “Бабушка Акулина” рассказывается о нищей старухе, которая живет в сыром подвале, собирая вокруг себя последнюю городскую шваль, последние отходы человеческого общества, больных алкоголизмом и распущенных до такой степени, что не стесняются жить за счет нищей старухи, за счет ее милостыни.

“Бабушка Акулина была филантропкой Задней Мокрой улицы. Она собирала милостыню, а в виде подсобного промысла иногда, при удобном случае, немножко воровала. Около нее всегда ютилось человек пятьдесят „внучат”, и она всегда ухитрялась всех их напоить и накормить. „Внучатами” являлись самые отчаянные пропойцы-босяки, воры и проститутки, временно, по разным причинам, лишенные возможности заниматься своим ремеслом. <...> Вся улица знала ее, и слава о ней выходила далеко за пределы улицы. Но все-таки, на языке босых и загнанных людей, “попасть во внучата” значило дойти до самого печального положения; поэтому бабушка Акулина как бы знаменовала собой крайнюю ступень неудобств жизни и, пользуясь большой известностью за свою филантропическую деятельность, не пользовалась любовью со стороны опекаемых ею людей”.

Вот куда утащил бы Алексея его добрый бог, если бы он прислушался к совету тоже доброго, но полуслепого (что символично!) мастера Григория “держаться” бабушки. Если бы он благоразумно не предал своего бога. Не убил его в себе.

В сущности, начало “М. Горького” приходится именно на “убийство” этого бога в себе.

“Мои университеты”, самое начало повести, момент отплытия Алеши Пешкова в Казань:

“Провожая меня, бабушка советовала:

— Ты — не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал! Это — от деда у тебя, а — что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты — одно помни: не Бог людей судит, это — черту лестно! Прощай, ну!”

“За последнее время, — признается Горький, — я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне”.

В сердце Кая, благодаря слезам Герды, тает льдинка Снежной Королевы. Алеша Пешков “с болью” вырывает из сердца “теплого” бога, Бабушку, зная, что с этим “теплым” богом он пропадет и “Бог дедушки” надежнее.

Беда в том, что он не любит этого дедушкиного Бога и не понимает Его.

Через некоторое время он попытается создать нового бога и назовет его “Человек”. Но даже гуманист Владимир Короленко смутится, прочитав поэму Горького с одноименным названием и увидев этот поистине ледяной образ, одиноко шествующий во Вселенной. Через десять лет Горький вспомнит о “теплом” боге, Бабушке, и поэтически воскресит его в “Детстве”. Но убийство в себе живого бога не пройдет бесследно...

В начале 1890-х годов Горький еще не понимал этого. В очерке “Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца” (1893) бабушка Акулина названа просто “бабкой”, и никакой идеализации ее там нет: “Пила она сильно и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как ее отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми, страшными, тусклыми глазами”.

Сравните это с началом “Детства”, написанным двадцать лет спустя: “...вся сияет, а глаза у нее радостно расширены...”. Бог и человек.

Во-вторых, у Бабушки нет своего Бога.

Мережковский, который пытался в статье “Не святая Русь. (Религия Горького)” противопоставить “Бога Бабушки” и “Бога Дедушки”, несомненно впал в искус язычества и многобожия, но кроме того воспользовался горьковским образом Бабушки в целях осуждения “казенного” церковного Бога, так как сам в это время искал “третью религию”, не совпадающую с “официальным” православием.

На самом-то деле, если внимательно читать повесть, никакого особенного “Бога Бабушки” там нет. Да и откуда бы ему взяться у неграмотной старухи, когда-то вышедшей замуж за грамотного “по-церковному” Василия Каширина? Илья Груздев считает, что замуж она вышла 14 лет от роду, а в одном из писем Груздеву Горький сообщает:

“Бабушка Акулина никогда не рассказывала о своем отце; мое впечатление: она была сиротою. Возможно — внебрачной, на что указывает „бобыльство” ее матери и ранее нищенство самой бабушки...” Что означает — “раннее нищенство”? Значит ли это, что четырнадцатилетняя Акулина Муратова была, по сути, профессиональной нищенкой?

“Хорошо было Христа ради жить...” — так рассказывает она Алексею о своем прошлом.

Так или иначе, но ее поведение еще до краха каширинского благополучия совсем не отвечает поведению супруги цехового старшины, гласного Городской Думы, метящего в ремесленные головы. Не очень понятно ее влияние на детей, о котором с горечью кричит дед Василий. Зато истинно русская “мощная” красота дочери Варвары, у которой “прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки”, тяжелые светлые волосы и свободолюбивый нрав, говорят о том, что эти черты достались ей не от “сухого”, “с птичьим носом” Василия, книжника и начетчика, а от матери-“ведьмы”, Акулины Ивановны. Как и, увы, склонность сыновей к водочке.

Бабушка странно молится, и это объясняет тот факт, что в доме Сергеевых Алексей вдруг целует иконный образ Богородицы — в губы.

“Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

— Наведи-ко ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!”

Поначалу можно подумать, что у бабушки и в самом деле какой-то “свой” Бог. Но дальнейшая ее молитва говорит о том, что это просто невинное обращение доброй неграмотной старухи к Богу, где личные семейные просьбы перемешаны с обрывками канонической православной молитвы.

“Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она Тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомни, Господи, Григорья, — глаза-то у него все хуже. Ослепнет, — по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О Господи, Господи!”

“— Что еще? — вслух вспоминает она, приморщив брови. — Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости, — Ты знаешь: не со зла грешу...

— Все Ты, родимый, знаешь, все Тебе, батюшка, ведомо”.

В этой бесхитростной молитве неграмотной старухи только строгий начетчик вроде дедушки Василия заподозрит какую-то ересь, какого-то особого Бога.

Но совсем иное — молитвы Бабушки, обращенные к Богородице.

“Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божьей Матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

— Богородица Преславная, подай милости Твоея на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячей и умиленнее:

— Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

— Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, Мати Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!”

Дедушка злится, слыша все это:

“— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя Господь! <...> Чуваша проклятая! Эх вы-и...”

Вот и еще одно возможное объяснение странной “религии” бабушки. “Чуваша”! Языческая кровь бродит в ней и в детях, взрывая изнутри когда-то насильно привитое ее народу христианство. Культ Богородицы ближе ей, чем иудео-христианский Бог, которому молится дед Василий. Да она просто не понимает Бога как первооснову и первопричину мироздания. Кто Его-то родил?

Понятное дело — Богородица!

И хотя Алеша, уже обученный дедом церковной грамоте, объясняет ей, что это не так, бабушка все равно сомневается. Она язычница чистой воды, воспринявшая от христианства идею милосердия, но так и не став церковной христианкой в строгом смысле. И это нравится Алексею. Не столько идея милосердия, сколько подмена Бога — Богородицей, Матерью мира, а значит, и его Матерью! Вот зачем он целовал Богородицу в губы.

Но это, в конце концов, означало страшное. Предавая Бабушку, “теплого” бога, “убивая” этого бога в себе, он “убивал” в себе Мать и такой ценой становился самостоятельным человеком. О да, конечно, эти дорогие “могилы” оставались в его душе! Они продолжали питать его творчество, притом лучшие его стороны. Но “отсохшие”, по его выражению, части сердца были уже невосстановимы. Отправляясь в Казань, будущий Горький заключал договор с новым богом, упрямым и любопытным. Да, этот новый бог был ближе к “Богу дедушки”, как Его понимал Алексей. Но и ближе к тому, о чем писал Мережковский, глубоко понявший религиозный дуализм Горького, но не знавший его реальных истоков.

А истоки? Вот они: “...отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое, сердитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. *Все об отце* (курсив мой. — *П. Б.*). Мало. Я бы, наверное, больше оставил моим детям и, уж во всяком случае, не забыл извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине (наполовину по крайней мере). Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обязанность...” (“Изложение фактов и дум...”).

Став невольным отцеубийцей, маленький Алеша лишился не только отца, но и матери. “Я лежал в саду в своей яме (опять яма! — *П. Б.*), а она гуляла по дорожке невдалеке от меня с своей подругой, женой одного офицера.

— Мой грех перед Богом, — говорила она, — но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим <...> и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его — я бы жила! А с такой колодкой на шее недалеко упрыгаешь!..”

“Медаль на шее”, “колодка на шее”. “Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, — жестоко замечает Горький о своей матери, — ничем не связывая себя, следует травить своих детей еще во чреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщин нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия, — отплатить ей за это [одним или двумя существами, подобными мне]...” (“Изложение…”).

Сколько “могил” было в сердце этого юноши, когда Алексей отправлялся на пароходе в Казань, оставляя в Нижнем погибать прбоклятый каширинский род и так и не найдя живого человека, который на полных правах поселился бы в его душе, где не нашлось места ни Богу, ни отцу и ни матери? Единственный человек, кто мог бы претендовать на это вакантное место, была Бабушка, Акулина Ивановна. Зимой 1887 года она упала и разбилась на церковной паперти и вскоре скончалась от “антонова огня”. На ее могиле рыдал дедушка. Алексей Пешков узнал об этом спустя семь недель после похорон.

1 Существует разногласие: как произносить фамилию Пешков? С ударением на первом или на втором слоге? Чаще произносят с ударением на первом: Пбешков. Но в повестях “Детство” и “В людях” Горький в фамилии Пешков неоднократно ставит ударение на последнем слоге, тем самым указывая, что его и его отца следует именовать Пешкбовыми. В этом есть и определенный символический смысл. Отец и сын в молодости были бродягами.

2 Очевидно, “фельетонами” Сологуб иронически называет части повести, которая печаталась порциями в газете “Русское слово” с конца августа 1913 года по конец января 1914-го.

3 Мережковский имеет в виду статью Горького “Две души”, опубликованную в журнале “Летопись”.

4 Начало “Летописи жизни и творчества...”, где идет речь о детстве и отрочестве Горького, можно отнести к научной биографии лишь с очень большой натяжкой, ибо многие данные там даются со ссылкой на автобиографическую трилогию Горького, то есть на художественные тексты.

5 Мать В. С. Сергеева приходилась сестрой бабушке А. Пешкова.

6 Сравнительный анализ образа “Детства” и реальной бабушки Акулины см. в интересной книге Л. Спиридоновой “М. Горький: новый взгляд” (М., ИМЛИ РАН, 2004).